

BR1
17453

И. И. Толстой.

8
K-90
T-53

8P1

10705
4190

49г

Л. Н. Толстой.
(1852—1902).

Къ пятидесятилѣтїю литературной дѣятельности).

„Художникъ — не теорїя, не область мысли и мысленной дѣятельности: онъ—человѣкъ, всегда человѣкъ своего времени, обыкновенно лучший его представитель, весь проникнутый его духомъ и его опредѣлившимися или зарождающимися стремлениями.. Писатель, служитель чистаго искусства, дѣлается иногда обличителемъ даже безъ сознанїя, безъ собственной воли и иногда противъ воли... Васъ самихъ, графъ, позволю я привести въ примѣръ... Вы были и вы будете обличителемъ.

(Изъ рѣчи Хомякова 4 февраля 1859 года, по случаю избранїя Л. Толстого членомъ общества любителей русской словесности).

50 лѣтъ тому назадъ въ юль или августъ мѣсяцѣ редакція „Современника“ получила не особенно разборчивую рукопись. Она носила заглавіе „Исторїя моего дѣтства“ и была подписана таинственными инициалами Л. Н.—Некрасовъ, бывший тогда редакторомъ „Современника“, бѣгло просмотрѣлъ рукопись и, несмотря на сдержанность, съ которой обыкновенно относятся въ такихъ случаяхъ къ начинающимъ писателямъ, долженъ былъ признать въ авторѣ талантъ. „Не зная продолженїя, писалъ онъ, не могу сказать рѣшительно, но мнѣ кажется, что въ авторѣ есть талантъ. Во всякомъ случаѣ, направленїе автора, простота и дѣйствительность содержанїя составляютъ неотъемлемыя достоинства этого про-

Библиотека
Вулик
Библиотека
Язвского

БЛАЖЕН. УЧЯТ. ИСТИНА
3287

ПРОВЕРЕ
1967

Библиотека
Язвского

изведенія. Прошу Васъ прислать мнѣ предложеніе. И романъ Вашъ, и талантъ меня заинтересовали. Еще я посовѣтовалъ бы Вамъ не прикрываться буквами, а начать печататься прямо со своей фамиліей, *если только Вы не случайный гость въ литературѣ*“.

Авторъ оказался не случайнымъ гостемъ. Это былъ тотъ писатель, которому въ концѣ столѣтія суждено было сдѣлаться міровымъ, получить право на исключительное званіе если не властителя, то возбудителя думъ всего современнаго человѣчества. Это былъ гр. Л. Н. Толстой, а повѣсть, присланная имъ, — первая часть всѣмъ извѣстной трилогіи „Дѣтство“.

Новый писатель былъ встрѣченъ восторженно. „Давно не случалось намъ читать произведенія болѣе прочувствованнаго, болѣе благородно написаннаго, болѣе проникнутаго симпатіей къ тѣмъ явленіямъ дѣйствительности, за изображеніе которыхъ взялся авторъ“, читаемъ въ первомъ печатномъ критическомъ отзывѣ. „Мы желали бы познакомить читателя съ произведеніемъ г. Л. Н., выписавъ изъ него лучшее мѣсто, во лучшаго въ немъ нѣтъ: все оно, съ начала до конца, истинно—прекрасно“.

Когда вышло „Отрочество“, то критика рѣшительно заявила, что авторъ преимущественно и даже исключительно художникъ. Но критика не обратила вниманія на заключительныя слова повѣсти. „Подъ вліяніемъ Нехлюдова, читаемъ здѣсь, я невольно усвоилъ и его направленіе, сущность котораго составляло восторженное обожаніе идеала добродѣтели и убѣжденіе въ назначеніи человѣка совершенствоваться. Тогда исправить все человѣчество, уничтожить всѣ пороки и несчастія людскія казалось удобоисполнимою вещью—очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить всѣ добродѣтели и быть счастливымъ“. А между тѣмъ этими словами опредѣлялся характеръ всей будущей дѣятельности Льва Николаевича. Исключительно художникомъ онъ никогда не былъ. Геніальныя проявленія творческаго дарованія постоянно соединялись у него съ стремленіями общественными и моральными. Эти стремленія, постепенно овладѣвая имъ,

нерѣдко заставляли его на время совершенно забывать художественно-литературную работу и становиться общественнымъ дѣятелемъ, философомъ-моралистомъ или публицистомъ.

Что же далъ своею литературною дѣятельностью Толстой, и въ чемъ заключается тайна его необъятнаго влiянiя на все общество нашего времени, не только русское, но и западно-европейское? Трудно, конечно, теперь отвѣтить на эти вопросы: Толстой такой гигантъ, такой огромный „слово русской литературы“, по выраженiю Тургенева, что оглядѣть его во весь ростъ намъ, современникамъ, стоящимъ рядомъ съ нимъ, волнующимся тѣмъ же, чѣмъ онъ волнуется, и борющимся за тѣ идеалы, о которыхъ онъ пишетъ, нѣтъ никакой возможности. Но когда исполнилось 50 лѣтъ его славной литературной дѣятельности, то настроенiе, вызванное днемъ этого рѣдкаго праздника высшей культуры, невольно создаетъ потребность высказаться. И какъ бы ни была слаба попытка отвѣтить на поставленные вопросы, все же въ ней ясно прозвучитъ желанiе послать свое скромное „спасибо“ тому великому писателю земли русской, имя котораго извѣстно, какъ славное имя, во всѣхъ уголкахъ цивилизованнаго мiра.

Особенности Толстого, какъ художника, всѣмъ извѣстны: необычайная наблюдательность, поразительная способность къ тончайшему анализу душевныхъ явленiй, часто едва примѣтныхъ, едва уловимыхъ, поэтическая отчетливость въ изображенiи лицъ, настроенiй и картинъ, отсутствiе фразы, ложной чувствительности, здоровый реализмъ, не тотъ реализмъ, который имѣетъ цѣлью простое фотографированiе дѣйствительности, но тотъ, который одухотворенъ извѣстной идеей, чуждой, однако, преднамѣренности, естественность и простота въ изображенiи даже мировыхъ событiй, крупныхъ явленiй общественной жизни, наконецъ, стремленiе къ чистотѣ нравственнаго чувства—вотъ характерныя черты Толстого, какъ художника. Но кромѣ того, цѣнность всякаго художника опредѣляется съ одной стороны широтою его кругозора, способностью охватить своимъ творческимъ окомъ возможно большую площадь дѣйствительности, съ другой — глубиною

анализа изображаемой дѣйствительности. Бѣглый обзоръ литературной дѣятельности Толстого покажетъ, что передъ нами писатель, который выдержитъ строжайшій судъ и съ этой точки зрѣнія.

Повѣсть „Дѣтство“, которой открылось триумфальное шествіе Толстого, уже обнаруживаетъ передъ нами глубокаго сердцевида: вся психика ребенка съ ея сложными ощущеніями, мимолетными, но всегда яркими впечатлѣніями, съ ея, повидимому, наивными, но нерѣдко глубокими мыслями и чувствами, нашла здѣсь изящнѣйшее изображеніе. Шагъ за шагомъ слѣдитъ авторъ за развитіемъ дѣтской души, и передъ читателемъ разворачивается огромная картина, гдѣ всякая мелочь тщательно вырисована, гдѣ нѣтъ ни одного случайнаго мазка.

Въ „Отрочествѣ“ и „Юности“ съ такимъ же тонкимъ анализомъ Толстой изображаетъ двѣ слѣдующія ступени развитія человѣческаго „я“. Отрочество начинается съ того момента, когда взгляды ребенка на вещи совершенно измѣняются, „какъ будто всѣ предметы, которые вы видѣли до тѣхъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, неизвѣстною еще стороною“, когда въ первый разъ ребенку приходитъ въ голову ясная мысль о томъ, что не всѣ интересы вертятся около его семейства, что существуетъ другая жизнь людей, ничего общаго не имѣющихъ съ членами его семьи, не заботящихся о нихъ и даже не имѣющихъ понятія объ ихъ существованіи. „Что же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятся о насъ?“ задаетъ вопросъ ребенокъ. „Какъ и чѣмъ они живутъ, какъ воспитываютъ своихъ дѣтей, учать-ли ихъ, пускаютъ-ли играть, какъ наказываютъ? и т. д.“ Эти вопросы—преддверіе новой жизни: ребенокъ становится отрокомъ. Зарождается моральная жизнь, возникаютъ вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души, однимъ словомъ, начинается то, что называется міровоззрѣніемъ; отвлеченная мысль ведетъ дѣятельную работу; создаются мечты объ исправленіи самого себя и всего человѣчества, объ уничтоженіи несчастій людскихъ и пороковъ. Юность характеризуется тѣмъ моментомъ,

когда всѣ эти мечты стремятся реализоваться, сдѣлаться не мечтами, а дѣйствительностью, когда является потребность приложить всѣ идеальныя мысли къ жизни „съ твердымъ намѣреніемъ никогда уже не замѣнять имъ“.

Картина становится все шире, разнообразнѣе, сложнѣе, но Толстой попрежнему совершенно свободно вырисовываетъ ее. При этомъ сказывается уже и будущій моралистъ: „Не гнушайтесь, читатель, обществомъ, въ которое я ввожу васъ“, говорить онъ въ „Отрочествѣ“ по поводу описанія дѣвичьей. „Ежели въ душѣ вашей не ослабли струны любви и участія, то и въ дѣвичьей найдутся звуки, на которые онъ отзовется“. Въ „Юности“ анализъ приобретаетъ характеръ безпощадной критики самыхъ темныхъ уголковъ души, обличенія условностей той окружающей среды, въ которой приходится жить герою повѣсти. И вездѣ, какъ справедливо замѣтилъ К. Аксаковъ, читатель ясно видитъ, что авторъ хочетъ одного—правды.

Остальныя произведенія этого же періода, изъ которыхъ назовемъ „Утро помѣщика“, „Записки Маркера“, „Казакъ“, „Севастопольскіе рассказы“, „Три смерти“, „Изъ записокъ кн. Д. Нехлюдова“, проникнуты тою же близостью къ жизни, художественною правдой, тонкой наблюдательностью и простотой. Но все больше и больше выступаетъ здѣсь моральная сторона, причемъ она не рѣжетъ глаза, а воспринимается читателемъ вмѣстѣ съ художественными образами незамѣтно, что является лучшимъ доказательствомъ необыкновеннаго творческаго таланта. Поэзія и мысль — вотъ эпиграфъ ко всѣмъ этимъ произведеніямъ. „Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать?“ спрашиваетъ Толстой въ концѣ повѣсти „Севастополь въ маѣ 1855 года“. „Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея?—Всѣ хороши и всѣ дурны... Герой моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ, — правда“. Вотъ это то правдивое изображеніе дѣйствительности и заставляеть ощущать—въ самый моментъ эстетическаго вос-

пріятія—всю красоту нравственнаго чувства и глубину общественной мысли, которыя скрыты въ поэтическихъ образахъ. Художникъ, мыслитель и моралистъ сливаются здѣсь во едино.

Прислушайтесь, напримѣръ, къ размышленіямъ Нехлюдова въ повѣсти „Утро помѣщика“: „Гдѣ же мои мечты! вотъ ужъ больше года, что я ищу счастья на этой дорогѣ и что-жъ я нашель? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольнымъ собой; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нѣтъ, я просто недоволенъ собой! Я не доволенъ потому, что я здѣсь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья. Я, не испытавъ наслажденій, уже отрѣзалъ отъ себя все то, что даетъ ихъ. Зачѣмъ? за что? Кому отъ этого стало легко? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чѣмъ дать его другимъ. Развѣ богаче стали мои мужики? Образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжелѣ. Еслибъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, еслибъ я видѣлъ благодарность..., но нѣтъ, я вижу ложную рутину, порокъ, недовѣріе, беспомощность!“—Передъ вами раскрывается съ мучительной очевидностью драма, въ которую попадаетъ представитель интеллигенціи, вѣками оторванной отъ народа, пріѣхавшій благодѣтельствовать крестьянъ, приносить имъ пользу, а вмѣсто этого причиняющій имъ вредъ. Въ этомъ стонѣ Нехлюдова слышится стонъ цѣлаго общества, которое сознавало уже свои священныя обязанности передъ народомъ, но выполнить ихъ, не смотря на страстное желаніе, не могло въ силу прочно сложившихся условій.

Или какую глубокой нравственной мыслью проникнуты размышленія героя повѣсти „Казакъ“, Оленина, пытающагося опредѣлить смыслъ жизни: „Ему ясно стало, говоритъ Толстой, что онъ нисколько не русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, другъ и родня того-то и того-то, а простой такой же комаръ, или такой же фазанъ, или олень, какъ и тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него. „Такъ же, какъ они, какъ дядя Ерощка, поживу, умру. И правду онъ говоритъ: только трава вырастетъ“.— „Да что же, что трава

вырастетъ? думаль онъ дальше — Все таки надо жить, надо быть счастливымъ, потому что : только одного желаю — счастья. Все равно, что бы я ни былъ: такой же звѣрь, какъ и всѣ, на которомъ трава вырастетъ, и больше ничего, или я рамка, въ которой вставилась часть единаго Божества, — всетаки надо жить наилучшимъ образомъ. Какъ же надо жить, чтобы быть счастливымъ, и отчего я не былъ счастливъ прежде?“ И онъ сталъ вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Онъ самъ представился себѣ такимъ требовательнымъ эгоистомъ, тогда какъ въ сущности ему для себя ничего не было нужно. И все онъ смотрѣлъ вокругъ себя на просвѣчивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовалъ все себя такимъ же счастливымъ, какъ и прежде. „Отчего я счастливъ, и зачѣмъ я жилъ прежде?—подумаль онъ. — Какъ я былъ требователенъ для себя, какъ придумываль, и ничего не сдѣлалъ себѣ, кромѣ стыда и горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастья!“ И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. „Счастье вотъ что,—сказаль онъ самъ себѣ:— счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человека вложена потребность счастья; стало быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то-есть отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Следовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены несмотря на внѣшнія условія, какія?—Любовь, самопожертвованіе!“

Въ севастопольскихъ разсказахъ сказывается тотъ же художникъ-реалистъ. Передъ читателемъ проходитъ вереница солдатскихъ типовъ, покорныхъ, начальствующихъ, суровыхъ, отчаянныхъ, хлопотливыхъ. Въ изображеніи ихъ проявилась обычная объективность Толстого. Мысли, чувства, рѣчи ихъ вполне естественны: говорятъ они сами, а не авторъ говоритъ за нихъ. Анализъ душевныхъ движеній доведенъ здѣсь до поразительной тонкости: отъ вниманія автора не ускользаетъ ни одна мелочь. Нерѣдко высказывался взглядъ, что

Толстой останавливается на такихъ мелочахъ, которыя сами по себѣ—не имѣютъ никакого значенія, но по волѣ автора имъ придается характеръ чего-то важнаго, играющаго крупную роль. Врядъ-ли это справедливо. И не свидѣтельствуютъ ли способность находить связь между вѣшними мелочами и жизнью человѣческой души о гениальномъ чутьѣ жизни. Это чутье жизни у Толстого такъ сильно, что онъ заставляетъ иногда читателя ощущать психику въ самой природѣ. Вспомнимъ, напримѣръ, классическій по своей торжественной простотѣ отрывокъ, которымъ заканчиваются „Три смерти“:

„На всемъ лежалъ холодный матовый покровъ еще падавшей, не освѣщенной солнцемъ росы. Востокъ незамѣтно яснѣлъ, отражая свой слабый свѣтъ на подернутомъ тонкими тучами сводѣ неба. Ни одна травка внизу, ни одинъ листь на верхней вѣткѣ дерева не шевелились. Только изрѣдка слышавшіеся звуки крыльевъ въ чащѣ деревьевъ, или шелеста по землѣ, нарушали тишину лѣса. Вдругъ странный, чуждый природѣ, звукъ разнесся и замеръ на опущкѣ лѣса. Но снова послышался звукъ, и равномерно стали повторяться внизу около ствола одного изъ неподвижныхъ деревьевъ. Одна изъ макушекъ необычайно затрепетала, сочные листья ея зашептали что-то, и малиновка, сидѣвшая на одной изъ вѣтвей ея, со свистомъ перепорхнула два раза, и, подергивая хвостикомъ, сѣла на другое дерево.—Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше, сочные бѣлья щепки летѣли на росистую траву, и легкій трескъ послышался изъ-за ударовъ. Дерево вдрогнуло всѣмъ тѣломъ, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своемъ корнѣ. На мгновеніе все затихло, но снова погнулось дерево, послышался трескъ въ его стволѣ, и, ломая сучья и спустивъ вѣтви, оно рухнулось макушкой на сырую землю. Звукъ топора и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше, вѣтка, которую она зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія, со всѣми своимъ листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями.—Первые лучи солнца,

пробивъ сквозившую тучу, блеснули въ небѣ и побѣжали по землѣ и небу. Туманъ волнами сталъ переливаться въ лощинахъ, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачныя поблѣвпшія тучки, спѣша, разбѣгались по синѣвшему своду. Птицы гомозились въ чащѣ и, какъ потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались на вершинахъ, и вѣтви живыхъ деревьевъ медленно, величаво зашевелились надъ мертвымъ, поникшимъ деревомъ“.

Какая изумительная детальность живописи! Но вѣдь только благодаря этой детальности читатель и проникаетъ въ тайники природы: ему ясно слышится тоскливая нотка въ трескъ падающаго дерева, испугъ передъ неожиданной смертью, тревога, а надъ всѣмъ этимъ звонко гудитъ радостный, счастливый хоръ голосовъ природы, поющихъ гимнъ жизни; отчаянія здѣсь нѣтъ, и его быть не можетъ: вся природа величаво спокойна, какъ бы сознавая безсиліе смерти передъ вѣчнымъ, побѣдоноснымъ ходомъ жизненныхъ силъ. Этотъ отрывокъ—блестящая иллюстрація къ стихамъ поэта:

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

Въ 1865 году на страницахъ „Русскаго Вѣстника“ началъ печататься романъ Толстого „Тысяча восемьсотъ пятый годъ“, который въ 1868 году появился въ свѣтъ въ отдѣльномъ изданіи подъ заглавіемъ „Война и миръ“. И по формѣ и по содержанію это произведеніе было и, вѣроятно, останется навсегда явленіемъ исключительнымъ. Самъ Толстой говоритъ по этому поводу въ своей любопытной статьѣ о „Войнѣ и Мирѣ“ *) такъ: „Что такое „Война и Миръ?“ Это не романъ, еще менѣе поэма, еще менѣе историческая хроника. „Война и Миръ“ есть то, что хотѣлъ и могъ выразить авторъ въ той формѣ, въ которой оно выразилось“. Дополняя это, надо признаться, довольно смутное опредѣленіе, мы

*) Русскій Архивъ 1868 года, выпускъ 3, стр. 515.

могли бы без преувеличенія сказать, что это—эпопея, энциклопедія русской жизни начала XIX столѣтія. Внутренняя жизнь общества, московскіе и петербургскіе салоны, масонскія логи, міровоззрѣніе аристократическихъ кружковъ того времени, психологія народныхъ массъ, событія военной и политической жизни—все это обрисовываетъ эпоху необыкновенно полно.

При этомъ ни огромность композиціи, ни богатство содержанія не подавляютъ автора. Очевидно, передъ нами писатель, который можетъ быть въ этомъ отношеніи достойнымъ соперникомъ Гомера и Данте. Что касается глубины анализа, то и тутъ Толстой, какъ всегда, достигаетъ высокой степени совершенства: передъ нами необыкновенно свободный и изящный изобразитель души, знакомый уже намъ какъ психологъ личности въ „Дѣтствѣ“, психологъ общества въ „Казакахъ“. При этомъ поражаютъ своеобразностью приемы автора: онъ нерѣдко совсѣмъ не обмолвится о душевномъ состояніи изображаемаго лица, но такъ нарисуетъ внѣшнюю обстановку, такъ удачно подчеркнетъ тотъ или другой внѣшній признакъ, что переходъ къ пониманію внутренняго міра вполнѣ естествененъ и легокъ. Напомню только одну сцену, не уступающую по своей мрачной колоритности сценамъ Дантовскаго „Ада“,—смерть Верещагина:

„Гдѣ онъ? сказалъ графъ, и въ ту же минуту, какъ онъ сказалъ это, онъ увидалъ изъ-за угла дома выходившаго между двухъ драгунъ молодого человѣка съ длиною, тонкою шеей, съ головой до половины выбритой и заросшею... На тонкихъ слабыхъ ногахъ тяжело висѣли кандалы, затруднявшіе нерѣшительную походку молодого человѣка“...

„А!“ сказалъ Растопчинъ..., указывая на нижнюю ступеньку крыльца.

„Поставьте его сюда!“ Молодой человѣкъ, бряча кандалами, тяжело переступилъ на указываемую ступеньку..., повернулъ два раза длиною шеей, и вздохнувъ, покорнымъ жестомъ сложилъ предъ животомъ тонкія, нерабочія руки... „Ребята! сказалъ Растопчинъ металлически-звонкимъ голосомъ,—этотъ человѣкъ, Верещагинъ,—тотъ самый мерзавецъ,

отъ котораго погибла Москва“. Молодой человекъ стоялъ въ покорной позѣ..., немного согнувшись. Исхудалое съ без-
надежнымъ выраженіемъ лицо его было опущено внизъ... На
длинной тонкой шеѣ молодого человека, какъ веревка, на-
пружилась и посинѣла жила за ухомъ, и вдругъ покраснѣло
лицо. Всѣ глаза были устремлены на него. Онъ посмотрѣлъ
на толпу и, какъ бы обнадеженный тѣмъ выраженіемъ, ко-
торое онъ прочелъ на лицахъ людей, онъ печально и робко
улыбнулся и, опять опустивъ голову, поправился ногами на
ступенькѣ.... „Бей его!... Пускай погибнетъ измѣнникъ и не
срамитъ имя русскаго! закричалъ Растопчинъ.—Руби! Я при-
казываю!“... Толпа застонала и надвинулась, но опять остано-
вилась. „Графъ!.. проговорилъ среди опять наступившей ми-
нутной тишины робкій и вмѣстѣ театральннй голосъ Верещ-
агина.—Графъ, одинъ Богъ надъ нами..., сказала Верещ-
агинъ, поднявъ голову, и опять налилась кровью толстая
жила на его тонкой шеѣ, и краска быстро выступила и сбѣ-
жала съ его лица. Онъ не договорилъ того, что хотѣлъ ска-
зать. „Руби его! Я приказываю!“... прокричалъ Растопчинъ,
вдругъ поблѣднѣвъ такъ же, какъ и Верещагинъ. „Сабли
вонъ! крикнулъ офицеръ драгунамъ, самъ вынимая саблю...
Руби! прошепталъ почти офицеръ драгунамъ, и одинъ изъ
солдатъ вдругъ съ искажившимся злобой лицомъ ударилъ
Верещагина тупымъ палахомъ по головѣ. „А!“ коротко и
удивленно вскрикнулъ Верещагинъ..., какъ будто не понимая,
зачѣмъ это было съ нимъ сдѣлано. Такой же стонъ удивле-
нія и ужаса пробѣжалъ по толпѣ. „О, Господи!“ послыша-
лось чье-то печальное восклицаніе... Ударившій драгунъ хо-
тѣлъ повторить свой ударъ. Верещагинъ, съ крикомъ ужаса,
заслонясь руками, бросился къ народу. Высокій малый, на
котораго онъ наткнулся, вцѣпился руками въ тонкую шею
Верещагина“. Послѣ смерти Верещагина „два драгуна взя-
лись за изуродованныя ноги и поволокли тѣло. Окровзавлен-
ная, измазанная въ пыли, мертвая, бритая голова на длинной
шеѣ, подворачиваясь, волочилась по землѣ. Народъ жался
прочъ отъ трупа“.

Сказано-ли хоть одно слово о душевномъ состояніи Вере-

шагина? Нѣтъ, а между тѣмъ оно для всякаго ощутительно, ярко: читатель отчетливо видитъ всю сложную схему настроеній жертвы разъяренной толпы.

Такимъ образомъ, Толстой, описывая внѣшнее, не перестаетъ быть глубокимъ психологомъ, и въ этомъ отношеніи можетъ быть поставленъ наряду съ Шекспиромъ.

Эти сопоставленія Л. Толстого съ Гомеромъ, Данте, Шекспиромъ могутъ напомнить привычку нашего добраго стараго времени сравнивать отечественныхъ писателей съ иностранными, но въ данномъ случаѣ сопоставленіе нашего художника съ звѣздами иностранной литературы вполне законно и имѣетъ цѣлью подготовить признаніе, что Толстой, какъ художникъ, писатель міровой, писатель всѣхъ будущихъ временъ и культурныхъ народовъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ нѣмецъ профессоръ по какому-то поводу сказалъ, обращаясь къ своимъ слушателямъ: „Мы не допустимъ обижать *нашего* Толстого!“ Нѣмецъ назвалъ Толстого *нашимъ*. Съ такимъ же правомъ могъ бы назвать Толстого *нашимъ* и французъ, и итальянецъ, и англичанинъ. Повторяю, Толстой, какъ художникъ, писатель міровой.

Съ 1874 по 1876 годъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ печатался новый романъ Толстого „Анна Каренина“. За нимъ, помимо народныхъ разказовъ, слѣдовали „Смерть Ивана Ильича“, „Власть тьмы“, „Плоды просвѣщенія“, „Крейцерова соната“, „Хозяинъ и работникъ“, „Воскресеніе“. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ виденъ тотъ же могучій художественный талантъ, но во многихъ изъ нихъ все больше и больше выступаютъ характерныя черты міровоззрѣнія Толстого, прочно, повидимому, сложившіяся у него, начиная съ 70-хъ годовъ. Такъ, уже самый эпиграфъ къ „Аннѣ Карениной“ — „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ“, заставляетъ думать, что въ романѣ скрывается кака-нибудь нравственная тенденція. И дѣйствительно, правъ былъ Достоевскій, когда говорилъ, что исключительный нравственный интересъ этого произведенія заключается въ новомъ взглядѣ „на виновность и преступность человѣческую“. „Гр. Толстой, писалъ Достоевскій, огромной психической разработкой человѣческой души до-

казываетъ, что зло таится въ человѣчествѣ гораздо глубже, чѣмъ предполагаютъ лѣкари и социалисты, что корень его лежитъ не въ томъ или другомъ устройствѣ общества, а въ душѣ человѣка, въ его „я“, и что исходъ нужно искать не въ переустройствѣ общества или государства, но въ обновленіи самого человѣчества, во введеніи въ сердце человѣчества принципа любви и всепрощенія“. Но помимо этой высокой нравственной идеи личнаго самоусовершенствованія, въ романѣ есть одинъ типъ, въ которомъ, очевидно, смѣшаны субъективныя воззрѣнія Толстого съ бессознательно объективнымъ художественнымъ изображеніемъ. Это — Левинъ. Онъ интересенъ съ точки зрѣнія практически-моральнаго ученія самого Толстого. Для Левина *деревня* была мѣстомъ жизни, т. е. радости, труда и страданій, онъ пришелъ къ убѣжденію, что *надо дѣлать то, что дѣлаетъ народъ, работать въ полѣ*, онъ чувствуетъ „несправедливость своего избытка въ сравненіи съ бѣдностью народа“, и т. п. Къ цивилизаціи Левинъ относится скептически: вѣдь она неспособна отвѣтить на вопросы: *откуда я, и куда, и зачѣмъ я*, а между тѣмъ эти отвѣты нужно получить человѣку, стремящемуся понять, *какъ нужно жить*. И тутъ отвѣтъ даетъ представитель народа, мужикъ Федоръ, изъ разговора съ которымъ Левинъ понялъ, что „можно жить по-человѣчески, и можно жить по-Божески“. Во всемъ этомъ слышатся мотивы послѣднихъ субъективно-теоретическихъ произведеній Толстого.

„Смерть Ивана Ильича“—одна изъ лучшихъ жемчужинъ въ сокровищницѣ русской литературы—тоже съ одной стороны даетъ превосходную картину пустоты, пошлости, безцвѣтности и нравственной тьмы въ жизни такъ называемаго интеллигентнаго, но въ сущности мѣщанскаго общества, съ другой указываетъ на народъ, какъ на идеаль. Иванъ Ильичъ—это большинство представителей культурнаго общества. И портретъ его нарисованъ Толстымъ какъ будто объективно спокойно, но вмѣстѣ съ тѣмъ безпощадно-зло. „Главное у Ивана Ильича была служба. Въ служебномъ мірѣ сосредоточился для него весь интересъ жизни. И интересъ этотъ

поглощала его... Такъ что, вообще, жизнь Ивана Ильича продолжала итти такъ, какъ онъ считалъ, что она должна была итти: пріятно и прилично... Радости служебныя были радости самолюбія, радости общественныя были радости тщеславія; но настоящія радости Ивана Ильича были радости игры въ винтъ“. Онъ женатъ, у него есть дѣти, но семьи, въ сущности, онъ не имѣетъ. Друзей тоже нѣтъ. Всю жизнь онъ окруженъ ложью, и самъ лжетъ вмѣстѣ съ другими, ложь совершается надъ нимъ во время его предсмертной болѣзни, ложь, наконецъ, провожаетъ его въ могилу. Таково ужъ все общество, къ которому принадлежитъ Иванъ Ильичъ. Нравственной силы въ этомъ обществѣ нѣтъ: оно утратило самое элементарное чутье нравственности. Недаромъ Иванъ Ильичъ, когда ему вдругъ пришла въ голову мысль: „Можетъ быть я жилъ не такъ, какъ должно?“ въ недоумѣніи отвѣчаетъ: „Но какъ же не такъ, когда я дѣлалъ все, какъ слѣдуетъ“. И это сознаніе правильности своей жизни заставляло его отгонять набѣжавшую *странную* мысль. Наряду съ этимъ насквозь пропитаннымъ пошлостью и ложью обществомъ вырисовывается фигура Герасима, мощная, веселая, ясная, простая и добрая: онъ одинъ не лжетъ, онъ одинъ любитъ Ивана Ильича, какъ человѣка, онъ одинъ понимаетъ „Божью волю“. Герасимъ—представитель народа, нетронутый цивилизаціей, и потому онъ является носителемъ высшей нравственной правды.

Что касается „Власти тьмы“, то говорить о художественныхъ достоинствахъ этой чисто русской драмы совершенно излишне, хотя многіе и отрицаютъ ихъ, находя, что реализмъ этого произведенія слишкомъ грубъ.

И это—правда. Но вѣдь Толстой рисуетъ картину дѣйствительной жизни, безъ всякихъ прикрасъ, сентиментализма и фантастичности, онъ анализируетъ человѣческую душу, подчиненную власти тьмы. Слишкомъ груба эта дѣйствительность, слишкомъ мрачна эта душа, и немудрено, что грубость и мрачность ихъ отразились на произведеніи. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ *художественной правдой* и только. Общественное значеніе этой драмы очень велико, настолько ве-

лико въ наше время, насколько въ эпоху дореформенной Россіи было велико значеніе „Ревизора“. Чтобы понять это, достаточно вслушаться повнимательнѣе въ слова Митрича: „Деревенская баба что? Слякоть одна. Вашей сестры въ Россіи большіе милліоны, а всё какъ кроты слѣпые, — ничего не знаете... Милліоновъ васъ сколько бабъ да дѣвокъ, а всё какъ звѣри лѣсные. Какъ выросла, такъ и помретъ. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужикъ, тотъ хоть и въ кабакъ, а то и въ замкъ, случаемъ, али въ солдатствѣ, какъ я, узнаетъ кое-что. А баба что? Она не то что про Бога, она и про пятницу-то не знаетъ толкомъ, какая такая?... Такъ, какъ щенята слѣпые ползаютъ, головами въ навозъ тычутся“... Многіе говорятъ, что эта народная драма для народа. Это—величайшее заблужденіе: „Власть тьмы“ — драма народная, но она по преимуществу для интеллигенціи, вѣками забывавшей о народѣ: интеллигенціи она и укоръ совѣсти, и грозный призракъ.—Носителемъ цѣльной нравственной правды является въ драмѣ Акимъ, и его рѣчи—знакомья намъ рѣчи: „Богъ трудиться велить...Ты на свое воротись, какъ тебѣ лучше, а Богъ значить, тое, на свое воротить... Грѣхъ за грѣхъ цѣпляетъ, за собою тянетъ... Душа надобна... Обижена слеза, тое, мимо не канетъ“ и т. п. Невольно вспоминается эпиграфъ къ „Аниѣ Карениной“: „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ“.

О „Плодахъ просвѣщенія“, Крейцеровой сонатѣ“, „Хозяинъ и работникъ“ и „Воскресеніи“ мы говорить не будемъ; хотя и эти произведенія представляютъ очень значительный художественный или общественный интересъ, но „Плоды просвѣщенія“ — очень живая и остроумная комедія-шутка, „Крейцера соната“ имѣетъ ввиду частный вопросъ нравственной жизни, „Хозяинъ и работникъ“ — блестящее въ художественномъ отношеніи произведеніе, но основная нравственная идея намъ уже знакома, что же касается „Воскресенія“, то, по нашему мнѣнію, оно еще слишкомъ близко къ намъ, чтобы можно было считать своевременной попытку выяснить его художественное и, главнымъ образомъ, общественное значеніе. Скажемъ только, что въ послѣднихъ двухъ

произведеніяхъ Толстой не чистый художникъ, а съ примѣсю нѣсколько бьющей въ глаза тенденціи.

Уже достаточно этого бѣглаго обзора литературной дѣятельности Толстого, чтобы признать въ немъ не только великаго національнаго писателя, но и мірового генія-художника. Однако, наше время еще не въ состоянціи оцѣнить Толстого въ его цѣломъ—это дѣло будущаго, когда страсти современниковъ уступятъ мѣсто спокойному и безпристрастному суду потомства.

Но Толстой привлекаетъ вниманіе не только какъ художникъ. Онъ интересенъ и какъ общественный дѣятель. Можно сказать, что не было во вторую половину минувшаго столѣтія ни одного выдающагося общественнаго событія, ни одного крупнаго общественнаго вопроса, на которые онъ не отозвался бы, въ которомъ не принялъ бы участія словомъ или дѣломъ. Когда подъ грохотъ севастопольскихъ пушекъ умирала дореформенная Россія и повѣяло новою жизнью, когда общество какъ бы встрепенулось, и на первую очередь поставленъ былъ вопросъ объ освобожденіи народа отъ крѣпостного права и отъ невѣжества, когда задумались надъ народнымъ образованіемъ, и организовывались первыя воскресныя школы, Толстой выступилъ на педагогическую дѣятельность: онъ открылъ въ Ясной Полянѣ школу, началъ издавать журналъ, посвященный разработкѣ педагогическихъ вопросовъ, книжки для народнаго чтенія, составилъ „Азбуку“. И тутъ онъ сдѣлалъ немаловажное дѣло. Онъ стоялъ за свободу преподаванія и школьнаго устройства, заявлялъ, что образованіе народа нужно вести путемъ самостоятельнаго развитія, безъ излишней регламентаціи, требовалъ изученія духовной жизни народа и любви къ нему. Школа Толстого носила характеръ семьи, а не школы. Что касается книгъ для народнаго чтенія, то ни одинъ писатель не достигалъ еще такой высокой степени художественной народности и простоты, какую проявилъ Толстой въ этихъ произведеніяхъ.

Не будемъ говорить о многомъ другомъ, гдѣ обрисовался Толстой, какъ общественный дѣятель. Скажемъ только,

что чуткость, самоотверженность, пылкость и честность всегда были его спутниками на этомъ поприщѣ.

Въ 70-хъ годахъ въ жизни и дѣятельности Толстого произошло всѣмъ извѣстный переворотъ: хотя онъ и не покидалъ своей художественной дѣятельности, однако съ этого времени мы больше слышимъ его голосъ, какъ моралиста-философа. Это направленіе во многихъ почитателяхъ художественнаго таланта Толстого вызывало и вызываетъ искреннюю скорбь: „Другъ мой!“ писалъ Толстому Тургеневъ передъ смертью, „вернитесь къ литературной дѣятельности! Вѣдь этотъ даръ Вашъ отсюда, откуда все другое. Ахъ, какъ я былъ бы счастливъ, еслибъ могъ подумать, что просьба моя на Васъ такъ подѣйствуетъ! Другъ мой, великій писатель земли русской, внемлите моей просьбѣ!“ Но Толстой не внялъ, и словомъ и дѣломъ началъ пропагандировать тѣ нравственные принципы, которые входили въ составъ его новаго міровоззрѣнія.

При своемъ могучемъ талантѣ, при способности говорить спокойно и убѣдительно, смотрѣть открыто на все, какъ бы оно ни было неприятно, Толстой, дѣйствительно, долженъ производить впечатлѣніе. И въ этомъ его сила. Въ будущемъ, вѣроятно, онъ какъ философъ-теоретикъ будетъ отвергнутъ, признанъ слабымъ въ отношеніи стройности своего міровоззрѣнія, но историческая критика должна будетъ признать за нимъ и въ этомъ отношеніи огромное значеніе для нашего времени.

Нѣтъ возможности въ бѣгломъ очеркѣ охарактеризовать и маленькаго писателя, тѣмъ болѣе невозможно оцѣнить въ полномъ объемѣ все то, что сдѣлано Толстымъ; для этого нужна огромная работа многихъ лицъ; но основной смыслъ его дѣятельности мы всетаки можемъ опредѣлить, можемъ угадать тайну его влчянія:

Л. Толстой въ теченіе полулѣтка зорко слѣдилъ за тѣмъ, чтобы наша мысль не спала, и какъ только она засыпала, онъ мощнымъ своимъ словомъ геніальнаго старика ея пробудить.

